

неизящное нрава: иже всегда с страхом в всякой повести беседую пред тобою, то како могу ясно изрещи сътвореннаа ми знамениа и чудеса преславнаа? И мало нечто сказах ти от тех преславных чудес, а множайшаа забых от страха, стыдяся твоего благочестиа, неразумно исповедах. Понудихся писаниемъ известити тебе еже от святых и блаженных отецъ Печерских, да и сущи по нас черноризци уведять благодать божию, бывшу в святемъ сем месте. . .».¹⁸

Однако принятое Поликарпом решение, по-видимому, показалось окружающим его инокам неслыханной дерзостью и кощунством. Об этом мы узнаем из автобиографической ремарки к рассказу о блаженном Агапите: «Но, яко же рече господь, никоторый же пророк приятен есть в отечествии своемъ. . . Другим убо неприятна мнятся быти глаголемаа, величества ради дел, вина же есть неверованию — мене грешнаго суща съведя Поликарпа».¹⁹

Из этого горького признания очевидно, что окружающие считали Поликарпа недостойным взяться за литературный труд, а следовательно, «греховность» его, осужденная Симоном, носила отнюдь не обобщенно-символический характер, была не литературным приемом, а реально воспринимаемым церковными ортодоксами фактом.

В этой — очевидно, недоброжелательной писателю — обстановке Поликарп прибегает к излюбленному средневековыми писателями приему, прибавлявшему их от упреков в «славолюбии» и «величании» и создает новую версию того, что побудило его самого стать писателем. Он говорит, что пишет не по своей инициативе, а побуждаемый к этому авторитетным лицом, в данном случае игуменом монастыря: «Но аще повелить твое преподобство написати, их же ми ум постигнуть и память принесть; аще ти и непотребно будетъ, да сущим по нас пользы ради оставим . . . тем же и аз, грешный Поликарп, твоей воли работаю, дръжавный Акиндине, и сиа ти написах».²⁰

Это обстоятельство, очевидно, утишило страсти, что позволило Поликарпу (или другому редактору патерика) сохранить обе версии. И снова сквозь облик смирившегося инока, лишённого инициативы и самостоятельности, проступает страстный и волевой человек, знакомый нам по письмам Симона. Смирение его — только оболочка, маска, чтобы сохранить самого себя.

Поликарп неоднократно возвращается к самому себе в ходе повествования в своеобразных автобиографических ремарках. Эта привычка к самонаблюдению позволяет ему увидеть себя остраненно и обобщенно. Он подмечает в себе то, что угадывалось в нем и по письмам Симона, — страстность своей природы. Это дает ему повод в предисловии к рассказу о многотерпеливом Иоанне-затворнике прийти к такому обобщению: «Подобнообразиа и равнострастие имети рожденным на земли пръваго человека. Ибо, видев красоту овоща, не удржашеся и бога ослушася, и страстно житие приат. Ибо егда създан бысть, и не име порока на себе, яко божие создание есть: господь бо бог нашъ, пръсть въсприм от земля рукама пречистыма и непорочныма, создав человека блага и удобрена. Но он, аки кал земнаа любя, ко сластем попользеся, и сласти ему приложишася. И обладан бысть оттоле род человекъ страстию. И во ины сласти уклонися, и боримы есмь всегда. И от тех един аз побежаюся им же и работаю. Смушаемъ помыслы душа моя, и страстне темь касаеся, и не ослабно

¹⁸ Там же, стр. 90.

¹⁹ Там же, стр. 95—96.

²⁰ Там же